

Иван Тургенев

Фауст



Иван Тургенев

Фауст

«Public Domain»

1855

Тургенев И. С.

Фауст / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1855

«Фауст» писался Тургеневым в обстановке намечавшегося политического кризиса, после окончания Крымской войны и смерти Николая I. Невеселые впечатления от современной писателю русской действительности дополнялись его личными переживаниями. Внутренние истоки повести, обусловившие ее грустную лирическую тональность, раскрываются Тургеневым в письме к М. Н. Толстой: «Видите ли, – писал Тургенев, – мне было горько стараться, не изведав полного счастья – и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась и тосковала; а ум, охлажденный опытом, изредка поддаваясь ее порывам, вымещал на ней свою слабость горечью и иронией <...> Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на всё это рукой <...> „Фауст“ был написан на переломе, на повороте жизни – вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости...»

Содержание

Письмо первое	5
Письмо второе	8
Письмо третье	12
Письмо четвертое	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17
Комментарии	

Иван Сергеевич Тургенев

Фауст

Рассказ в девяти письмах

Entbehren sollst du, sollst entbehren ¹.

«Фауст» (часть I-я)^[1]

Письмо первое

От Павла Александровича Б...

к Семену Николаевичу В...

Сельцо М...ое, 6 июня 1850.

Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был – страшно вымолвить – целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, – ты всё, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, – я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменялся в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким славным вареньем потчевала), совсем высохла и сгорбилась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталончики и обутые – в те же самые скрипучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление... Но, боже мой! – как болтаются теперь эти панталончики на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены – всё это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серозеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле – песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он... А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы – моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделял свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, и пошевелиться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда

боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках – совершенный Геркулес Фарнезский!^[2] Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила – и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса;^[3] не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, – словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть всё это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско.^[4] Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуоципанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д'арленкуровского «Пустынника».^[5] На одной шторе этот пустынный, с огромнейшей бородой, глазами навывкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой – происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах; один лежит, еп гассоисс², убитый – словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок... Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня... куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности... Потом эти воспоминания сменились другими, потом... потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение... Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.

² в ракурсе (франц.).

А скучать я не буду. Я привез с собой несколько книг, и здесь у меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей: «Кандида» в рукописном переводе 70-х годов;^[6] ведомости и журналы того же времени; «Торжествующего хамелеона» (то есть Мирабо);^[7] «Le Paysan perverti»^[8] и т. д. Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки: на одной ветхой-ветхой французской грамматике, в пестром переплете, написано крупными буквами: *Ce livre appartient à m-lle Eudoxie de Lavrine*⁴ и выставлен год – 1741. Я увидел книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гётевского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им... Но другие дни – другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидел я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года).^[9] Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помнишь: «На жизненных волнах, в вихре творения», возбудили во мне давно не изведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил всё: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих,^[10] и Зейдельманна в роли Мефистофеля,^[11] и музыку Радзивилла^[12] и всё и вся... Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания...

Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя, одинокий, в своем одиноком домишке! Что, если бы кто подсмотрел меня? Ну, так что ж? Я бы нисколько не устыдился. Стыдиться – это тоже признак молодости; а я, знаешь ли, почему стал замечать, что стараюсь? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва...

А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал,^[13] и это «что-то» – чуть ли не самое важное.

Эх, до чего я дописался! Прощай! До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати: Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком, потолстел и обрюзг немного. Так же хорошо делает куриные супы с разварными луковичками, ватрушки с узорчатой каймой и пигус – знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке – настоящий картон. Однако прощай!

Твой П. Б.

³ «Развращенного крестьянина» (франц.).

⁴ Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной (франц.).

Письмо второе

От того же к тому же

Сельцо М...ое, 12 июня 1850.

Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай! Вчера, перед обедом, захотелось мне погулять – только не в саду; я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге – очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю: едет навстречу коляска. «Не ко мне ли?» – подумал я с тайным страхом... Однако нет: в коляске сидит господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня: не я ли такой-то? – называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю: «Я такой-то», а сам гляжу, как баран, на господина с усами и думаю про себя: «А ведь я его видал где-то!»

– Вы меня не узнаете? – произносит он, вылезая между тем из коляски.

– Никак нет-с.

– А я так узнал вас тотчас.

Слово за слово: оказывается, что это был Приимков, помнишь, бывший наш университетский товарищ. «Что же это за важная новость? – думаешь ты в это мгновение, любезный Семен Николаич. – Приимков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя не злой и не глупый». Всё так, дружище, но слушай продолжение разговора.

– Я, говорит, очень обрадовался, когда услышал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался.

– Позвольте узнать, – спросил я, – кто же еще был так любезен...

– Моя жена.

– Ваша жена!

– Да, моя жена: она ваша старая знакомая.

– А позвольте узнать, как зовут вашу супругу?

– Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова урожденная...

– Вера Николаевна! – восклицаю я невольно...

Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма.

Но, может быть, ты и в этом ничего не находишь важного... Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей... давно прошедшей жизни.

Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 183... году, мне было двадцать три года. Ты поступил на службу; я, как тебе известно, решил отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать. Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего... «Но где мне провести лето?» – спрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось: отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было, я боялся одиночества, скуки... А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Т***ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое: два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживало пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали – а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было возможности. Всё делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъ-

езде и ждал только, чтобы прошли дядины именины, но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову – и остался.

Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своею матерью в маленьком именице, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее – человек, говорят, весьма замечательный – быстро достиг полковничьего чина и пошел бы еще далее, но погиб в молодых годах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви; он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю и до самой смерти (по словам Приимкова, она умерла скоро после свадьбы дочери) носила одни черные платья. Я живо помню ее лицо: выразительное, темное, с густыми, поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец – фамилия его была Ладанов – лет пятнадцать прожил в Италии. Мать Веры Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил трастевиринец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил... Эта история в свое время наделала много шума. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать умерших... Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему, но не простил ей ее побега с Ельцовым, не пустил к себе на глаза ни ее, ни ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, г-жа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывала отроду, даже в своем уездом.

Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалось, ни о чем не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво. Веселую она бывала редко и не так, как другие: ясность невинной души, отрадное веселости, светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых, кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы: у людей с талантами таких рук не бывает... и действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голос у ней звенел, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и, несколько дней спустя, в первый раз поехал к ним.

Г-жа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное: я и уважал ее и побаивался ее. Всё у ней делалось по системе, и дочь свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила ей слепо. Стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не читай – она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Но и у г-жи Ельцовой были свои *idées fixes*⁵, свои коньки. Она, например, как огня боялась всего, что может действовать на воображение; а потому ее дочь до семнадцатилетнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения, а в географии, истории и даже в естественной истории частенько ставила в тупик меня, кандидата, и кандидата не из последних, как ты, может быть, помнишь. Я было раз попытался потолковать с г-жой Ельцовой об ее коньке, хотя трудно было вовлечь ее в разговор: она очень была молчалива. Она только головой покачала.

⁵ навязчивые идеи (франц.).

– Вы говорите, – сказала она наконец, – читать поэтические произведения *и* полезно *и* приятно... Я думаю, надо заранее выбрать в жизни: *или* полезное, *или* приятное, и так уже решиться, раз навсегда. И я когда-то хотела соединить и то и другое... Это невозможно и ведет к гибели или к пошлости.

Да, удивительное существо была эта женщина, существо честное, гордое, не без фанатизма и суеверия своего рода. «Я боюсь жизни», – сказала она мне однажды. И точно, она ее боялась, боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца... Это хотя бы кого запугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. Она, должно быть, много горя перенесла на своем веку и никогда ни с кем не поделилась им: всё в себе затаила. Она до того приучила себя не давать воли своим чувствам, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою к дочери; она ни разу не поцеловала ее при мне, никогда не называла ее уменьшительным именем, всегда – Вера. Помню одно ее слово; я как-то сказал ей, что все мы, современные люди, надломленные... «Надламывать себя не для чего, – промолвила она, – надо всего себя переломить или уж не трогать...»

Весьма немногие ездили к Ельцовой; но я посещал ее часто. Я втайне сознавал, что она ко мне благоволила; а Вера Николаевна мне очень нравилась. Мы с ней разговаривали, гуляли... Мать не мешала нам; сама дочь не любила быть без матери, и я, с своей стороны, тоже не чувствовал потребности уединенной беседы. У Веры Николаевны была странная привычка думать вслух; по ночам она во сне громко и явственно говорила о том, что ее поразило в течение дня. Однажды, поглядев на меня внимательно и, по обыкновению своему, тихонько подпершись рукою, она сказала: «Мне сдается, что Б. хороший человек; но положиться на него нельзя». Отношения между нами были самые дружелюбные и ровные; только однажды мне показалось, что я подметил там, где-то далеко, в самой глубине ее светлых глаз, что-то странное, какую-то негу и нежность... Но, может быть, я ошибся.

Между тем время шло, и мне уже пора было собираться в отъезд. Но я всё медлил. Бывало, как подумаю, как вспомню, что скоро я не увижу более этой милой девушки, к которой я так привязался, – жутко мне станет... Берлин начинал терять свою притягательную силу. Я не смел самому себе сознаться в том, что во мне происходило, да я и не понимал, что происходило во мне, – точно туман бродил в душе. Наконец, в одно утро мне вдруг всё стало ясно. «Чего еще искать, – подумал я, – куда стремиться? Ведь истина все-таки в руки не дается. Не остаться ли лучше здесь, не жениться ли?» И, вообрази себе, эта мысль о женитьбе несколько не испугала меня тогда. Напротив, я обрадовался ей. Мало того: в тот же день я объявил о своем намерении, только не Вере Николаевне, как бы следовало ожидать, а самой Ельцовой. Старуха посмотрела на меня.

– Нет, – сказала она, – мой милый, поезжайте в Берлин, надломитесь-ка еще. Вы добры; но не такой муж нужен для Веры.

Я потупился, покраснел и, что тебя, вероятно, удивит еще более, тотчас же внутренне согласился с Ельцовой. Через неделю я уехал и с тех пор уже не видал ни ее, ни Веры Николаевны.

Я описал тебе мои хождения вкратце, потому что знаю, ты не любишь ничего «про странственного». Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну... Но, признаюсь, неожиданное известие о ней меня взволновало. Меня поразила мысль, что она так близко, что она моя соседка, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из земли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня. Приемков объявил мне, что посетил меня именно с целью возобновить наше старинное знакомство и что он надеется в самом скором времени увидеть меня у себя. Он мне сообщил, что служил в кавалерии, вышел в отставку поручиком,

купил имение в восьми верстах от меня и намерен заниматься хозяйством, что у него было трое детей, но что двое умерли, осталась пятилетняя дочь.

– И жена ваша меня помнит? – спросил я.

– Да, помнит, – отвечал он с небольшой запинкой. – Конечно, она тогда была еще, можно сказать, ребенок; но ее матушка вас всегда очень хвалила, а вы знаете, как она дорожит каждым словом покойницы.

Пришли мне на память слова Ельцовой, что я не гожусь для ее Веры... «Стало быть, *ты* годился», – подумал я, сызбока посматривая на Приимкова. Он у меня пробыл несколько часов. Он очень хороший, милый малый, так скромно говорит, так добродушно смотрит; его нельзя не полюбить... но умственные способности его не развились с тех пор, как мы его знали. Я непременно к нему поеду, может быть, завтра же. Чрезвычайно любопытно мне посмотреть, что такое вышло из Веры Николаевны?

Ты, злодей, вероятно, смеешься теперь надо мною, сидя за своим директорским столом; а я все-таки тебе напишу, какое впечатление она произведет на меня. Прощай! До следующего письма.

Твой П. Б.

Письмо третье

От того же к тому же

Сельцо М...ое, 16 июня 1850.

Ну, брат, был я у ней, видел ее. Прежде всего должен сообщить тебе удивительное обстоятельство: верь мне или не верь, как хочешь, но она почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане. Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул: семнадцатилетняя девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки; впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы. Но то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь двадцать восемь лет, и трое детей у ней было... Непонятно! Ты, пожалуйста, не думай, что я из предубеждения преувеличиваю; напротив, мне эта «неизменность» в ней вовсе не понравилась.

Женщина в двадцать восемь лет, жена и мать, не должна походить на девочку: недаром же она жила. Она очень приветливо меня встретила; но Приимкова мой приезд просто обрадовал: этот добряк так и смотрит, как бы к кому привязаться. Дом у них очень уютный и чистый. Вера Николаевна и одета была девочкой: вся в белом, с голубым поясом и тоненькой золотой цепочкой на шее. Ее дочка очень мила и на нее несколько не похожа; она напоминает свою бабу. В гостиной, над диваном, висит портрет этой странной женщины, поразительно схожий. Он мне бросился в глаза, как только я вошел. Казалось, она строго и внимательно смотрела на меня. Мы уселись, вспомнили про старину и понемногу разговорились. Я поневоле то и дело взглядывал на сумрачный портрет Ельцовой. Вера Николаевна сидела прямо под ним: это ее любимое место. Представь мое изумление: Вера Николаевна до сих пор не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения – словом, ни одного, как она выражается, выдуманного сочинения! Это непостижимое равнодушие к возвышеннейшим удовольствиям ума меня рассердило. В женщине умной и, сколько я могу судить, тонко чувствующей это просто непростительно.

– Что же, – спросил я, – вы положили себе за правило никогда таких книг не читать?

– Не пришлось, – отвечала она, – некогда было.

– Некогда! Я удивляюсь! Хоть бы вы, – продолжал я, обратившись к Приимкову, – приохотили вашу жену.

– Я с удовольствием... – начал было Приимков, но Вера Николаевна его перебила.

– Не притворяйся: ты сам небольшой охотник до стихов.

– До стихов, точно, – начал он, – я не очень; но романы, например...

– Да что же вы делаете, чем вы занимаетесь по вечерам? – спросил я, – в карты играете?

– Иногда играем, – отвечала она, – да мало ли есть чем заняться? Мы тоже читаем: есть хорошие сочинения, кроме стихов.

– Что вы на стихи так нападаете?

– Я на них не нападаю: я с детства привыкла не читать этих выдуманных сочинений; матушке так было угодно, а я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что всё, что матушка ни делала, всё, что она ни говорила, была правда, святая правда.

– Ну, как вы хотите, а я с вами согласиться не могу: я убежден, что вы напрасно лишаете себя самого чистого, самого законного наслаждения. Ведь вы не отвергаете музыки, живописи: отчего же вы отвергаете поэзию?

– Я ее не отвергаю: я до сих пор с ней не познакомилась – вот и всё.

– Так я возьмусь за это! Ведь ваша матушка не на всю жизнь запретила вам знакомство с произведениями изящной словесности?

– Нет; как я вышла замуж, матушка сняла с меня всякое запрещение; мне самой в мысли не приходило читать... как вы это сказали?.. ну, словом, читать романы.

Я с недоумением слушал Веру Николаевну: я этого не ожидал.

Она смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся.

– Я вам принесу книгу! – воскликнул я. (У меня в голове мелькнул недавно мной прочтенный «Фауст».)

Вера Николаевна тихонько вздохнула.

– Это... это не будет Жорж Санд? – спросила она не без робости.

– А! значит, вы слышали о ней? Ну, хоть бы она, что же за беда?... Нет, я вам принесу другого автора. Ведь вы по-немецки не забыли?

– Нет, не забыла.

– Она говорит, как немка, – подхватил Приимков.

– Ну и прекрасно! Я вам принесу... да вот вы увидите, какую я вам удивительную вещь принесу.

– Ну, хорошо, увижу. А теперь пойдемте в сад, а то Наташе на месте не сидится.

Она надела круглую соломенную шляпу, детскую шляпу, точно такую же, какую надела ее дочь, только побольше немного, и мы отправились в сад. Я шел с ней рядом. На свежем воздухе, в тени высоких лип ее лицо мне показалось еще милее, особенно когда она слегка поворачивалась и закидывала голову, чтоб посмотреть на меня из-под края шляпки. Если бы не шедший за нами Приимков, если бы не прыгавшая перед нами девочка, я бы, право, мог подумать, что мне не тридцать пять лет, а двадцать три года; что я только собираюсь еще в Берлин, тем более что и сад, в котором мы находились, весьма походил на сад в имении Ельцовой. Я не удержался и передал мое впечатление Вере Николаевне.

– Мне все говорят, что я наружно мало изменилась, – отвечала она, – впрочем, я и внутренно осталась та же.

Мы подошли к небольшому китайскому домику.

– Вот такого домика у нас в Осиновке не было, – сказала она, – но вы не смотрите, что он так обвалился и полинял: внутри очень хорошо и прохладно.

Мы вошли в домик. Я оглянулся.

– Знаете ли что, Вера Николаевна, – промолвил я, – велите к моему приезду принести сюда стол и несколько стульев. Здесь в самом деле чудесно. Я вам здесь прочту... Гётева «Фауста»... вот какую вещь я вам прочту.

– Да, здесь мух нет, – заметила она простодушно, – а когда вы приедете?

– Послезавтра.

– Хорошо, – возразила она, – прикажу.

Наташа, которая вместе с нами вошла в домик, вдруг вскрикнула и отскочила вся бледная.

– Что такое? – спросила Вера Николаевна.

– Ах, мама, – проговорила девочка, указывая в угол пальцем, – посмотри, какой страшный паук!..

Вера Николаевна взглянула в угол – большой пестрый паук тихо вползал по стене.

– Чего же тут бояться? – сказала она, – он не кусается, посмотри.

И, прежде чем я успел остановить ее, она взяла безобразное насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон.

– Ну, какая же вы храбрая! – воскликнул я.

– В чем же тут храбрость? Этот паук не из ядовитых.

– Видно, вы по-прежнему сильны в естественной истории; а я бы его в руки не взял.

– Его нечего бояться, – повторила Вера Николаевна.

Наташа молча посмотрела на нас обоих и усмехнулась.

– Как она похожа на вашу матушку! – заметил я.

– Да, – возразила Вера Николаевна с улыбкой удовольствия, – это меня очень радует. Дай бог, чтобы она не одним лицом на нее походила!

Нас позвали обедать, и после обеда я уехал. NB. Обед был очень хорош и вкусен – это я в скобках замечаю для тебя, объедало! Завтра я к ним свезу «Фауста». Боюсь я, как бы мы со стариком Гёте не провалились. Опишу тебе всё подробно.

Ну, а теперь что ты думаешь обо всех «сих происшествиях»? Небось, – что она произвела на меня сильное впечатление, что я готов влюбиться и т. д.? Пустяки, брат! Пора и честь знать. Довольно подурачился; полно! Не в мои годы начинать жизнь сызнова. Притом же мне и прежде не такие женщины нравились... Впрочем, какие женщины мне нравились!!

Я содрогаюсь – сердцу больно —
Мне стыдно идиолов моих.^[14]

Во всяком случае, я очень рад этому соседству, рад возможности видеться с умным, простым, светлым существом; а что будет дальше, узнаешь в свое время.

Твой П. Б.

Письмо четвертое

От того же к тому же

Сельцо М...ое, 20 июня 1850.

Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно, о том следуют пункты. Прежде всего спешу сказать: успех неожиданный... то есть «успех» – не то слово... Ну, слушай. Я приехал к обеду. За столом нас было шестеро: она, Приимков, дочка, гувернантка (незначительная белая фигурка), я и какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе... все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шimmel, учитель немецкого языка у соседей Приимкова, князей Х...х. Вера Николаевна, кажется, благоволил к нему и пригласила его присутствовать на чтении. Мы обедали поздно и долго не выходили из-за стола, потом гуляли. Погода была чудесная. Утром шел дождь и ветер шумел, а к вечеру всё утихло. Мы вместе с нею вышли на открытую поляну. Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако; как дым, тянулись по нем серые полосы; на самом краю его, то показываясь, то исчезая, дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка поалевшей лазури. Я указал Вере Николаевне на это облако.

– Да, – сказала она, – это прекрасно, но посмотрите-ка сюда.

Я оглянулся. Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой середине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла...

– Быть грозе, – заметил Приимков.

Но я отдаляюсь от главного. Я в последнем письме забыл тебе сказать, что, приехав домой от Приимковых, я раскаивался, что назвал именно «Фауста»; для первого раза Шиллер гораздо бы лучше годился, уж коли дело пошло на немцев. Особенно пугали меня первые сцены до знакомства с Гретхен; насчет Мефистофеля я тоже не был покоен. Но я находился под влиянием «Фауста» и ничего другого не мог бы прочесть с охотой. Когда уже совсем стемнело, мы отправились в китайский домик; его накануне привели в порядок. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром; кругом расставлены были кресла и стулья; на столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Вера Николаевна поместилась на креслах несколько поодаль, недалеко от двери. За дверью, среди тьмы, выставлялась, слегка качаясь, зеленая ветка акации, освещенная лампой; изредка вливалась в комнату струя ночного воздуха. Приимков сел близ меня у стола, немец возле него. Гувернантка осталась с Наташей в доме. Я произнес небольшую вступительную речь: упомянул о старинной легенде доктора Фауста,^[15] о значении Мефистофеля, о самом Гёте и попросил остановить меня, если что покажется непонятным. Потом я откашлянулся... Приимков спросил меня, не нужно ли мне воды с сахаром и, по всему можно было заметить, остался очень собой доволен, что сделал мне этот вопрос. Я отказался. Глубокое молчание воцарилось. Я начал читать, не поднимая глаз; мне было неловко, сердце билось, и голос дрожал. Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину... «Удивительно! возвышенно! – твердил он, изредка прибавляя: – А вот это глубоко». Приимков, как я мог заметить, скучал: по-немецки понимал он довольно плохо и сам сознавался, что стихов не любит!.. Вольно ж было ему! Я за столом хотел было намекнуть, что чтение может обойтись без него, да посоветился. Вера Николаевна не шевелилась; раза два я украдкой взглянул на нее: глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня; ее лицо мне показалось бледным. После первой встречи Фауста с Гретхен она отделилась от спинки кресел, сложила руки и в таком положении

осталась неподвижной до конца. Я чувствовал, что Приимкову тошно приходилось, и это меня сперва охлаждало, но понемногу я забыл о нем, разгорячился и читал с жаром, с увлечением... Я читал для одной Веры Николаевны: внутренний голос говорил мне, что «Фауст» на нее действует. Когда я кончил (интермеццо я пропустил:^[16]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Entbehren sollst du, sollst entbehren! – 1549 стих первой части «Фауста» Гёте, из сцены «Studierzimmer». В трагедии Гёте Фауст иронизирует над этим изречением, призывающим к отказу от запросов своего «я», к смирению своих желаний, как над «прописной мудростью»; Тургенев полемически использует его в качестве эпиграфа к повести.

2.

Геркулес Фарнезский. – Имеется в виду находящаяся в Неаполитанском музее знаменитая статуя работы афинского скульптора эпохи Римской империи Гликона, которая изображает отдыхающего Геракла (Геркулеса), опирающегося на палицу.

3.

...и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса... – В «Одиссее» Гомера любимый охотничий пес Одиссея (Улисса) Аргос встречает хозяина после возвращения его из долгих странствий и затем издыхает (XVII песнь).

4.

Манон Леско – героиня романа французского писателя Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Женский портрет, напоминающий Манон Леско, часто выступает в ряду других старинных портретов середины XVIII века в повестях Тургенева (см.: Гроссман Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе. М., 1922, с.7–41).

5.

...сцены из д'арленкуровского «Пустынника». – Д'Арленкур (d'Arlincourt) Шарль Виктор Прево (1789–1856) – французский романист, легитимист и мистик, романы которого в свое время пользовались широкой известностью, выдержали несколько изданий, переводились на многие европейские языки, инсценировались. Особенно популярен был его роман «Le solitaire» – «Пустынник», или «Отшельник». Романы д'Арленкура сохранились в спасской библиотеке с надписью матери Тургенева (Barbe de Tourguéneff) (см.: Португалов М. Тургенев и его предки в качестве читателей. – «Тургениана». Орел, 1922, с. 17).

6.

...«Кандида» в рукописном переводе 70-х годов... – Первый перевод на русский язык романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет» вышел в Петербурге в 1769 г., последующие – в 1779, 1789 гг. Речь идет о рукописной копии одного из этих переводов. Подобная копия имела в спасской библиотеке. «Этот редкостный экземпляр, – отмечал М. В. Португалов, – в хорошо сохранившемся переплете имеет на корешке (внизу) инициалы: А. Л. (Алексей Лутовинов)» (там же, с. 16). Тот же рукописный список «Кандида» упоминается и в «Нови» (сохранялся в «заветном ящике» Фомушки – см. «Новь», гл. XIX).

7.

«Торжествующий хамелеон» (то есть: Мирабо) – анонимный памфлет «Торжествующий хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», перев. с нем. М., 1792 (в 2-х частях).

8.

«Le Paysan perversi» – «Развращенный крестьянин» (1776) – роман французского писателя Ретифа де ла Бретонна (Restif de la Bretonne, 1734–1806), имевший большой успех. По

свидетельству М. В. Португалова, «все упомянутые <в „Фаусте“> книги находятся и теперь в Тургеневской библиотеке: и роман Ретифа де ла Бретонна, с автографом Pierre de Cologrivoff, и „Хамелеон“ гр. Мирабо, и старые учебники матери и бабки Тургенева с той же надписью, только вместо Eudoxie de Lavrine (кстати упомянуть, бабушка И. С. из рода Лавровых) поставлено „A Catharinne de Somov“...» (указ. соч., с. 27–28). Тургенев описывает в «Фаусте» спасскую библиотеку как типичную для среднедворянского помещичьего круга, к которому принадлежали его предки.

9.

С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). – Имеется в виду привезенное Тургеневым в Спасское из-за границы издание: Goethe J. W. Werke. Vollständige Ausgabe. Stuttgart und Tübingen, 1827–1830. Bd. I–XL. «Фауст» (1-я часть) был напечатан в 12-м томе этого издания, вышедшем в одном переплете с 11-м в 1828 г. (см.: Горбачева, Молодые годы Т, с. 43).

10.

Клара Штих (1820–1862) – немецкая драматическая актриса, выступавшая в наивно-сентиментальных ролях и пользовавшаяся в начале 1840-х годов в Берлине, в период пребывания там Тургенева, большим успехом. Как об актрисе, занявшей главное место на берлинской сцене, упоминает о ней К. Гуцков в главе «Берлинская театральная жизнь накануне 1840 г.» (Gutzkow K. Berliner Erinnerungen und Erlebnisse. Hrsg. von P. Friedländer. Berlin, 1960, S. 358).

11.

...и Зейдельманна в роли Мефистофеля. – Карл Зендельманн (1793–1846) – знаменитый немецкий актер, игравший на берлинской сцене в 1838–1843 гг. в пору пребывания там Тургенева, исполнитель центральной роли в «Натане Мудром» Лессинга и разнообразных ролей в трагедиях Шиллера и Шекспира. Мефистофеля в «Фаусте» Гёте он играл в гротесковой манере, сочетая трагические и комические элементы (см. восторженный отзыв о нем П. В. Анненкова в «Письмах из-за границы (1840–1843)» в кн.: Анненков и его друзья, с. 131–132; о роли Зейдельманна в освобождении актерского немецкого искусства от напыщенной декламации и ложного пафоса см.: Троицкий З. Карл Зейдельманн и формирование сценического реализма в Германии. М.; Л., 1940).

12.

Музыку Радзивилла... – Антон Генрих Радзивилл, князь (1775–1833) – польский магнат, живший с молодых лет при берлинском дворе, музыкант и композитор, автор ряда романсов, девяти песен из «Вильгельма Майстера» Гёте и партитуры к его трагедии «Фауст», впервые исполненной посмертно 26 октября 1835 г. берлинской Певческой академией и изданной в Берлине в том же 1835 г. В 1837 году радзивилловский «Фауст» с успехом исполнялся в Лейпциге, а в 1839 г. – в Эрфурте. Музыка Радзивилла к «Фаусту» привлекла внимание Шопена, Шумана и Листа. Лист в своей книге о Шопене, которая могла быть известна Тургеневу, дал высокую оценку партитуры Радзивилла к «Фаусту» (см.: Liszt Fr. Fr. Chopin. Paris, 1852, p. 134).

13.

...есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал... – Перефразировка слов Гамлета из 5-й сцены I действия трагедии Шекспира «Гамлет» («Hamlet: There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy»). The plays and poems of William

Shakespeare. Leipzig, 1844. Vol. VI, p. 27. – На небе и земле есть больше вещей, Горацио, чем снилось вашей философии).

14.

Я содрогаюсь – сердцу больно... – Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824):

15.

...упомянул о старинной легенде доктора Фауста... – Об этом см.: Жирмунский В. В. История легенды о докторе Фаусте. Изд. 2-е. М., 1978, с. 257–362.

16.

...интермеццо я пропустил... – «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании. Интермедия», сцена 22 из 1-й части «Фауста».